
Дэвид Волш
США

ИСКУССТВО И ИСТОРИЯ
В «КРАСНОМ КОЛЕСЕ» А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА¹

*Жизнь и творчество Александра Солженицына:
на пути к «Красному Колесу»: сборник статей / сост.
Л.И. Сараскина. М. : Русский путь, 2013. С. 40–51*

Какова бы ни была грядущая судьба России, её определяют те великие личности, которые прозревали грядущее своей страны, идя ради неё на великие жертвы. Преодолевая гнёт конкретно-исторических обстоятельств, они оказывались способны творить настоящую историю. В этом смысл всех подлинно эпических произведений, ибо они стремятся не столько просто запечатлеть прошлое, сколько установить его связь с будущим. Примеры уже происшедших событий задают образцы, составляющие повторяющиеся модели бытия. Боги и смертные вступают в героические битвы, в ходе которых и выясняется, что в этом мире по-настоящему значимо.

В «Красном Колесе» эта вечная битва разворачивается меж теми, кто стремится переделать Россию в соответствии с собственными представлениями, и теми, для кого, наоборот, мысль о России является главным внутренним принципом, которым они пытаются руководствоваться в каждом своём поступке. Здесь и пролегает граница между идеологией и истиной. Для адептов любой идеологии их убеждения превыше всего существующего на самом деле. Служители истины подчиняются необходимости сделать всё возможное для того, чтобы уже существующее обрело максимально полное выражение. Главное здесь — осознать, где кроется та подлинная реальность, воплощению которой мы должны всеми силами способствовать.

Вправе ли мы кроить окружающую действительность в угоду нашей собственной воле, как это стремился сделать Ленин? Вся суть его фигуры и её значимость заключены в этой готовности дойти в следовании своим убеждениям до самого края. Как кажется, этот титанический порыв, по мнению Солженицына, и стал причиной исторического успеха вождя революции. Значит ли это, что исторический деятель просто должен быть достаточно решительным и окружающий мир подчинится его воле? Ведь несмотря на все свои человеческие слабости и тактические промахи, Ленин служит воплощением того неумолимого порыва, который в конце концов и покатило вперёд красное колесо. Что могли Самсонов или даже Столыпин противопоставить этой дьявольской безжалостной силе, которая готова скорее разрушить Россию, нежели дать ей выскользнуть из большевистской хватки? Перед лицом этой исторической

победы какие аргументы можно привести в пользу истины, которую история полностью отвергла? Вот в чём суть вопроса, с неизбежным постоянством возникающего у автора «Красного Колеса» с того самого момента, когда он, отказавшись от изначальной идеи описать исторический триумф, поставил перед собой куда более сложную задачу: проникнуть в суть разрушительной катастрофы.

Именно в этом отношении взгляд художника оказывается значительно полнее, чем подход историка. Искусство не ограничивается изображением наиболее значимых событий и их последствий. Оно вправе наряду с реально происшедшим показывать и то, чему случиться не довелось. Гораздо глубже проникая в исследуемую им реальность, искусство может заставить говорить то, чему история так и не дала слова. Оно способно прямо выразить позицию, которую историография, может, и разделяет, но не вправе прямо декларировать. В отличие от историка, художник может прямо заявить о значимости своего предмета, в данном случае предназначения России. Даже когда рушатся все важнейшие государственные институты и общественные установления, даже когда духовный распад заходит так далеко, что дальнейшее существование нации оказывается под вопросом, а стране приходит конец, всё равно подлинная Россия не погружается в небытие, даже если и становится образом непоправимо утраченного. Но, разумеется, она не может быть утрачена навеки. Даже описывая историю погружения России в пучину революционного безумия, ты не сравниваешь происходящее с чем-то утратившим всякую реальность. Образ России, с которой история обошлась подобным образом, всё равно не теряет своей подлинности. Истинная суть этой России — не той, где сосуществуют противостоящие друг другу разрозненные кланы, полностью потерявшие представление о некоем общем наследии, а той, что объединяет людей, связанных единым самосознанием, — каким-то образом не гибнет окончательно. Она выживает, и только в силу этого история России возможна в принципе. В конечном счёте историю революционного саморазрушения России написать нельзя. Распад неизбежно предполагает наличие чего-то изначально единого, даже если это единство продолжает существовать только в голове историка, который тем самым продолжает хранить образ того, чему не суждено было свершиться. В «Красном Колесе» Солженицын с ещё большей отчётливостью осознаёт эту цель: воссоздать, пусть только в своём воображении, то, что история повергла во прах, и тем самым дать своему народу шанс на спасение. Историкам такая вера тоже не чужда. Если даже учёный уже не надеется на возрождение потерянного во всей его полноте, он или она тоже способны показать, что исчезнувшая Россия заслуживала попытки воссоздать её. В этом смысле история неизбежно становится хранилищем утраченного.

Но исторический эпос способен на большее. Он всецело обращён в будущее и этой своей устремлённостью способен сделать это будущее возможным. Эпическое произведение утверждает новый общественный порядок, порой

прямо основывая его на образе погибшего прошлого. Вот и «Красное Колесо» — это не просто книга о революционных потрясениях, происшедших некогда в России. Этот труд становится орудием, призванным преодолеть происшедший тогда раскол, дабы построить новое будущее страны. Гомеру не нужно было нарисовать конкретный образ того общества, которое придёт на смену сокрушённой Трое и ахейской Греции; и Солженицын тоже не обязан детально описывать постреволюционную Россию и, шире, мировое сообщество посттоталитарной эпохи. Важно то, что «Красное Колесо» несёт в себе семена этой новой социальной общности. Когда и где эти семена дадут всходы, далеко не главное. Существенно то, что они посеяны картиной величайшей катастрофы и несут в себе единственный залог того, что масштаб этой трагедии будет правильно оценен. Другая Россия, сопротивлявшаяся падению в бездну революционного безумия, тем самым продолжает своё существование. Возможно, она вообще не сохранилась нигде, кроме как на страницах «Красного Колеса». Но этого достаточно, ибо тем самым Россия не утратила своего истинного бытия. Когда бы и где бы она ни вернулась на свой исконный исторический путь, ценностные ориентиры этого возвращения уже заданы. Народ, который не хочет кануть в историческое безвременье, должен найти внутреннюю опору не в безудержном самопоглощении, но в щедром самопожертвовании — только так люди, этот народ составляющие, смогут жить вместе. И потому редкие примеры героической жертвенности, проявленной в невыносимых обстоятельствах, способны превратить поражение в победу. Сохраняя память об этих всплесках добра среди океана зла, «Красное Колесо» не просто не даёт прошлому умереть. В этой книге способность противостоять обстоятельствам приобретает то историческое величие, без которого невозможна сама история.

Как нельзя более явственно эта перспектива обнаруживается в пространственных размышлениях, содержащихся в описании смерти Столыпина, «лучшего главы правительства», которого России довелось иметь за двести лет². Человек, который оказался способным остановить сползание к революции, который чётко осознал и необходимость реформ, и важность укоренения их в русской душе, который один обладал достаточным мужеством и силой, чтобы управлять государством в момент величайшей исторической опасности, пал жертвой убийцы. И вот, лёжа на смертном одре, он продолжает мучительно раздумывать, как же спасти страну, — несмотря на то что ни царь, ни кто-то другой из высших должностных лиц даже не счёл нужным прийти к умирающему в его последние дни. Вроде бы колесница истории катится вперёд, оставив одного из её героев лежать на обочине. Но в изображении Солженицына этот герой не выпускает вожжи истории из своих рук, пусть и продолжает удерживать их лишь в своих собственных мыслях. Писатель, похоже, стремится убедить нас: не важно, сумел ли Столыпин в реальности изменить ход событий. Главное в том, что он несёт слово правды, которое и служит залогом бу-

душего. Никому, думает Столыпин, не дано переменить течение истории. Но, когда это течение само начинает меняться, человек может проложить для него новое русло. Ответственное правительство в России могло появиться только тогда, когда сам русский народ решился попробовать отвечать за самого себя. Либеральные реформы ничего не дадут в том случае, если, устранив все внешние сдерживающие факторы, они не предусмотрят ограничений внутренних. Народ, поставивший себя выше закона, не способен к самоуправлению. В своём длинном историческом экскурсе Солженицын показывает, что Столыпин был истинным поборником свободы. Он был единственным государственным мужем, который пытался одновременно накормить крестьян и сохранить монархию. «Это была главная мысль Столыпина: что нельзя создать правовое государство, не имея прежде независимого гражданина, а такой гражданин в России — крестьянин. “Сперва гражданин — потом гражданственность”» (8; 166). Самоуправление должно внедряться снизу, через местные земства или собрания, в которых граждане должны получать необходимые навыки и опыт ответственной самоорганизации. В момент жесточайшего за всю русскую историю кризиса Столыпин единственный, кто осознавал, как ответить на требования нового времени, не руша основ того, что делает Россию Россией.

Солженицын уверен, что только Столыпин был способен не дать красному колесу прокатиться по стране неуправляемым вихрем. В отличие от революции, реформы смогли бы сохранить два важнейших государственных института — монархию и Церковь. Царь являлся важнейшим объединяющим символом, и только монархия скрепляла необозримые пространства России. А благодаря Православной церкви христианство проникло в самую сердцевину жизни России, ведь недаром русское слово «крестьянин» тождественно «христианину». Вместе они, монархия и Церковь, составляли неотъемлемую основу русского бытия, и потому в минуту величайшей опасности нельзя было дать расшатать эту основу. Главной целью, к которой стремился Столыпин, было «преобразовать наш быт, не нанося ущерба жизненной основе нашего государства — душе народной <...>» (8; 199). Но этому замыслу не суждено было свершиться, и Столыпин понимал это, когда умирал, оставленный всеми, кого он пытался спасти. Его размышления о том, что ждёт Россию, преисполнены особой значимости ещё и потому, что он думает о стране в минуту расставания с собственной жизнью. В изображении Солженицына Столыпин не склонен сетовать или жаловаться. Осознавая, что рассчитывать не на что, он, тем не менее, не теряет надежды, уповая на ту единственную силу, в которой нельзя разочароваться. Судьба России пребывает в руках Божьих. Государь, который не пришёл к умирающему, — и точно так же в её смертный час не сможет прийти на помощь своей стране, — «слабый» человек, неспособный на большее. «И не без Божьей же воли нам послан в т а к и е годы — т а к о й Государь... Не нам Твой замысел весить» (8; 273). Превыше всего, что совершают люди и чего они не в силах оказываются совершить, пребывает всё

определяющее и непостижимое Божественное провидение. Исполняя долг, возложенный на них этой верховной волей, люди способны лишь ощутить её присутствие, но не могут постичь все последствия, в которых она проявляется в ходе неумолимого течения истории. В итоге мы не творим историю, а лишь действуем в заданных ею рамках. История — это Божественный приговор, разворачивающийся во времени, и нам в лучшем случае доступно лишь понимание его неотвратимости. «Как это устроено Тобю, Господи, с непонятным планом для нас <...>» (8; 268). Мы лишь убеждены в скрытой от нас благодетельности этого плана.

В этот момент подлинная суть России, неотделимая от Божественной истины, заключена только лишь в одиноких раздумьях умирающего Столыпина. Но он при этом не одинок, ибо пребывает в лоне неколебимой Божественной заботы, не упускающей из виду ничего из происходящего в мире. Столыпин не может предсказать будущее, в том числе семьдесят лет большевистского кошмара и конечное крушение этого режима, но он знает, что Господь есть добро. Из этого благого начала проистекает и его собственное беззаветное служение. Сама фигура Столыпина служит воплощением исторической победы добра над злом. Добро не может в конце концов не восторжествовать, ибо как можно принести собственную жизнь на алтарь общественного долга, если не верить свято, что жертва того стужит. Когда, где и как свершится это торжество, нам не дано предугадать, но уверенность в этом итоге должна оставаться нерушимой. Так что, в конце концов, всякое историческое деяние коренится в вере, и не просто в историческую целесообразность, а в Бога, что превыше истории и всего, что она объемлет. Потому Столыпин не теряет окончательно надежды, даже когда сам он стоит на краю смерти, а его страна катится в пропасть. Скорее ужас происходящего становится поводом для того, чтобы уповать на то, что взойдет заря искупления. Всё утраченное возродится, пусть только в лоне Господнем, чья любовь не знает границ. Вот почему Столыпин оказывается способным в свой смертный час с таким душевным спокойствием взирать на то, как гибнет всё, что он так неустанно отстаивал. Он осознаёт, что в конце концов это не его труд, или, по крайней мере, не только его. Россия, которая пребывает в его сердце, скрыта и в хранилище куда более глубокое — в преисполненном любви лоне Господнем. И это служит значительно более надёжным залогом её спасения, чем все его отчаянные усилия. Этой верой были вдохновлены все его поступки как государственного деятеля, и только благодаря ей они смогут принести плоды уже много лет спустя после того, как его самого не станет. Цели, которым он старался служить, были предопределены всеобъемлющим Божьим промыслом.

Обретённое Столыпиным осознание того, что сокровенная истина истории заключена в Боге, а не в человеческих поступках, становится одним из наиболее значимых тезисов, утверждаемых в «Красном Колесе». Трудно предположить, что авторская позиция кардинально отличается от точки зрения

того, кого он рисует как самую выдающуюся историческую фигуру того времени; но всё же и образ Столыпина не даёт нам возможности полностью понять взгляды творца «Красного Колеса». Для выражения собственной философии Солженицын использует несколько второстепенных персонажей, не играющих существенной роли в историческом процессе, но зато ключевых для понимания его скрытого смысла.

В первую очередь, в этом отношении важны Саня Лаженицын, прототипом для которого послужил отец писателя, а также молодая женщина, выведенная под именем Зинаиды. Пытливый ум Сани делает его участником наиболее содержательных бесед о смысле истории, в которых особенно подчёркивается несогласие Солженицына с Толстым. Первый из этих разговоров происходит в «Августе Четырнадцатого», когда Саня, уже найдя альтернативу толстовской этике, предлагаемую в «Вехах», погружается в обсуждение этих проблем со старым московским мудрецом Варсонофьевым по прозвищу Звездочёт. Именно Варсонофьев в беседе с молодыми студентами стремится убедить их, что наше дело — не отстранённо высказывать своё суждение об истории, а отвечать на её зов, когда за ним стоит справедливость. Саня к тому времени уже отказался от своего пацифизма, записавшись добровольцем на фронт, и тем самым доказал, что для него чувство долга важнее любых теоретических представлений о том, как следует развиваться истории. Считать свои моральные приоритеты определяющими цену всех вещей — в этом и заключалось тщеславное заблуждение Толстого. На собственном тяжком опыте Саня убеждается, что, напротив, цену всему назначает Господня воля. Когда мы встречаемся с Саней в следующий раз, уже в «Октябре Шестнадцатого», он пребывает в глубоком душевном смятении, чувствуя ответственность за гибель Чевердина, солдата с соседней батареи. Благодаря долгому разговору с воинским священником о. Северьяном, он окончательно избавляется от толстовской этики, призванной «людей спасти — безо всякой Божьей помощи» (9; 58).

Только истребив в себе все проявления гордыни, включая самонадеянную уверенность в собственном моральном превосходстве, можем мы стать орудиями в руках Господа, Кто единственный способен искупить все мерзости бытия. Изменить историю не в наших силах. В этом ошибка Толстого и корень куда более агрессивных заблуждений Ленина и его приверженцев. Для каждого из нас открыта лишь одна дорога — дорога исполнения долга, ответственности перед вечностью, а нити последствий, тянущиеся от наших поступков, отданы в руки Единственного, от Кого мы можем ждать, что Он сплетёт их в единую ткань истинного блага³. Мы не несём ответственности за историю — лишь за наши деяния в конкретный исторический момент. Но и этого достаточно, коль скоро мы сообразуем наши усилия с царящей над всем Божьей волей. Ключевой миг приходит тогда, когда наши собственные силы на исходе и мы осознаём, что ничего не в силах совершить без помощи Бо-

жбей, — вот что открывается Сане. А Толстой, как полагает о. Северьян, просто никогда не оказывался в состоянии полной беспомощности. «— <...> Когда ни на какое самостоятельное действие нет сил, а последние силы — на молитву. Хочется — только молитвы, только набраться перетекающей силы от Всемогущего. И если это удаётся нам — так явственно осветляется грудь, возвращаются силы. Так узнаём мы, что значит: “сохрани и помилуй нас Твоею благодатию!” Знаете вы это состояние?» На что Саня отвечает: «— Я именно в таком состоянии и встретил вас сегодня» (9; 58). Трудно отделаться от ощущения, что здесь мы имеем дело с явными следами автобиографического опыта.

Ещё одно проникновенное описание духовного переживания приобретает, по сравнению с только что разобранным, ещё более символический смысл. Речь идёт об «Исповеди» молодой женщины, чьё имя и образ так и дышат жизнью во всей её всепобеждающей силе. Содержательная значимость этого эпизода подчеркнута тем, что он составляет заключительную главу «Октября Шестнадцатого». Появление в финале этого Узла Зинаиды кажется тем более знаковым, поскольку в развёртывании его действия она не играет существенной роли. Эта фигура лишь придаёт происходящему некий дополнительный, высший смысл. Явление её в развязке произведения подготовлено более ранним разговором о ней в одном поезде между Воротынцевым и писателем Фёдором Ковынёвым. Уже тогда образ Зины Алтанской обнаруживает свою необоримую притягательность. Её невидимое присутствие объединяет эти беседующие друг с другом два «вторых “я”» автора «Красного Колеса»: писателя, прилежно собирающего образчики людской речи, и воина, человека неустанного действия.

Именно об этой необычной молодой женщине размышляют они вместе, сидя за самоваром, в то время как за окнами поезда в темноте проносятся русские поля. Ещё прежде упоминания о ней мы находим в записных книжках Ковынёва, и там, ещё до того, как мы о ней что-то узнаём, она сама начинает говорить от своего собственного лица. Это её первое утверждение несёт в себе важнейшую идею труда Солженицына и тем самым сразу же обнаруживает значимость данного образа. «Зина не признаёт различия “малых” и “великих” дел: мол, у каждого свой запас нравственных сил, и всякий истративший максимум своих сил — вот уже и совершил своё великое дело: между собой эти люди равны, хотя для внешнего мира поступки несоизмеримы. — А и верно?» (9; 180). Самый незначительный человек может проникнуть в самую сокровенную истину, ибо всеобщему причастен каждый. Именно таков смысл этой беседы двух случайных попутчиков, писателя и солдата, каждому из которых не удалось добиться свершения своих наполеоновских планов. И вот теперь они пытаются разгадать тайну этой девушки, чья страсть своей мощью высветила всю ограниченность их собственных боязливых поступков. От неё столь ярко пролился свет истины, что писатель не мог себя заставить расстаться с ней. Но не мог он и принять на себя ответственность мужа и тем самым в конце концов подтолк-

нул Зину в объятия женатого человека, что привело ко многим несчастьям и её саму, и её мать, и ребёнка, и даже жену её любовника. Писатель повёл себя не как мужчина. Но этот рассказ задевает за живое и полковника, причём его волнует не столько равнодушие, проявленное его собеседником, сколько отклик, возникший в его собственной душе. Воротынцев содрогается при мысли о том, насколько такая женщина способна заворожить мужчину.

«Вот эта жгучесть под бытейской коркой — она изумляла.

И вызывала зависть.

И глухое чувство упущенного» (9; 206).

И вот в финале «Октября Шестнадцатого» подлинной кульминацией всего происшедшего становится появление Зины Алтанской как самостоятельного действующего персонажа. Кажется, именно в этом образе автору удалось воплотить весь масштаб разворачивающейся катастрофы. Женщина, которая смогла захватить воображение и писателя, и солдата, теперь возникает на страницах повествования, неся в себе отдалённую надежду преодолеть нарастающий хаос. Кто-то когда-то должен был произнести слово, которое история пока так и не смогла отыскать. Слово это — «раскаяние». Только раскаянием можно сдержать поток бессмысленного уничтожения или хотя бы противостоять ему, чтобы сохранить единственную надежду на грядущее возрождение. Эту надежду и воплощает собой Зинаида. Никак очевидным образом не включённая в происходившие до сих пор события, она, тем не менее, обещает нам нечто совершенно иное. История не обязательно должна представлять собой замкнутый круг из угнетения, возмездия и нового гнёта. Его может разорвать лишь тот, кто сделает шаг вперёд, дабы простить и попросить прощения. Без всякого очевидного намёка на развёртывающееся вокруг неё вселенское бедствие, Зинаида, тем не менее, переживает подобное пробуждение, вырываясь из не менее порочного круга собственного бытия. С помощью этого образа Солженицын, по всей видимости, пытается сказать своему читателю, что, подобно этой потерявшей голову женщине, бросившейся в объятия человека, от которого ей не стоило ждать ничего хорошего, Россия также полностью утратила самоё себя. Позабыв о своём долге, Зина отдалась целиком на волю своим страстям и желаниям и в итоге потеряла всё, что ей было дорого в жизни. Революция тоже стала результатом коллективной утраты рассудка в погоне за безумными и недостижимыми мечтами. Разум можно обрести заново, только признав, как бы это ни было больно, свою ответственность за совершённое зло. И пусть ни в «Октябре Шестнадцатого», ни в каком-либо ещё из Узлов мы не находим исторической фигуры, способной на такой акт, способной придать ему общественную значимость, — истина, заключённая в раскаянии, столь же нерушима, как и подлинная суть России. Если страна и не готова к раскаянию, то, по крайней мере, необходимость искупления утверждается примером того, как обезумевшая молодая женщина отыскала путь к личному спасению.

Искусство выше истории, ибо способно проникать в то, что истории ещё только предстоит открыть внутри себя. Искусство несёт истину, к которой в конце концов приходит история. Величие художественного свершения Солженицына состоит не в осуждении случившегося с высоты исторического опыта, но в размышлении о нём, что становится возможным через сопричастность к страданию и стремление к самоочищению. Со страниц произведений Солженицына звучит тот голос, что способен вновь пробудить Россию. Жгучая исповедь Зинаиды задаёт ту перспективу, в которой должно быть прочитано всё им написанное. В «Архипелаге ГУЛАГ» доктор Борис Корнфельд советует Солженицыну пересмотреть всю свою жизнь, с тем чтобы осознать собственную ответственность за творящееся в мире зло; а раскаяние становится залогом того, что добро снова может обрести силу. Только с помощью исповеди можем мы достичь ясности в нашем осмыслении мира, ибо она сбрасывает с наших глаз пелену, мешающую чёткости восприятия. Эту ясность даёт нам Господь, и достичь её можно только чистосердечной молитвой о прощении. Стоит только в ней немного покривить душой, и истина так и останется для тебя недоступной. Вот что открылось Солженицыну по мере написания им своего величайшего труда, в котором он пытался различить те силы, что запустили бег красного колеса.

И несмотря на всю грубую и зримую мощь их исторического воздействия, корень этих процессов лежит в духовной сфере. Самый глубинный их исток — это неспособность людей брать на себя ответственность. Каким образом такое стало возможным? Исторические обстоятельства не могут служить объяснением, факты лишь способны зафиксировать само отсутствие, нехватку этой коллективной ответственности. Проникнуть в самую суть происшедшего можно, только приняв на себя весь груз вины, признав, что ты сам оказался неспособным выполнить взятые на себя обязательства. Только кающийся может в полной мере взять на себя ответственность за случившееся, и только покаяние приносит отпущение грехов, а с ним и возможность наконец преодолеть и победить зло. Раскаявшись, мы оказываемся способны осмыслить прошлое во всей его полноте и в то же время окончательно избавиться от его груза. Раскаяние — это новое начало, возможность которого подготавливает каждая страница «Красного Колеса». Это поворотный пункт, обещающий нам зарю возрождения, даже если ни единый исторический факт не даёт оснований для такой надежды. Потому раскаяние — это залог на будущее, залог того, что история продолжится. Оно лежит вне времени, но способно пустить поток времени вперёд по новому руслу. Вот почему исповедь Зинаиды так важна, хотя этот чисто внутренний, личный опыт никак напрямую не соотносён с происходящими вокруг историческими событиями. Но именно в этом частном бытии и продолжает биться сердце России.

Бесспорная значимость этого эпизода подчёркивается тем, с какой любовью его рисует Солженицын. Нет и намёка на осуждение: сцена созерцания

Зиной лика Христа в церкви во время службы проникнута лишь целебным духом Божественного милосердия. Христос взирает на неё не с гневом, но с невыразимой скорбью Того, Кто принял на себя все грехи человечества. Несмотря на то что в душе ей поначалу недоставало веры, она постепенно ощущает, что её умерший сын не потерян для неё навеки. «Сейчас просто увиделось, что *где-то что-то есть*» (10; 523). В речитативе церковной службы звучат сетования на беззаконие, коим преисполнились людские души, и они заставляют Зину задуматься о собственной неудавшейся жизни, припомнить все грехи, вина за которые лежит на ней. И хотя она верит, что сознательно никому не хотела причинить вреда, тем не менее выходит, что она ответственна за целую череду бедствий, постигших и её, и её близких. Она соблазнила женатого человека, разрушила его семью, оставила умирающую мать, бросила на произвол судьбы сына и теперь вынуждена отдать себе отчёт в том, что не в силах покаяться в последнем, главном грехе. Она не может отказаться от своего возлюбленного. Именно в этот момент священник зовет её исповедаться, и она соглашается, хотя и осознаёт, что неспособна на этот высший акт очищения: преодолеть своё любовное влечение. И, стоя над ней, священник произносит формулу отпущения грехов, понимая, что она не выполнила до конца его повеление: всецело вручить себя Господу. Зина не изгнала из сердца самое глубинное мятежное чувство — страсть, изнуряющую её. Поразительно, насколько остро осознаёт Солженицын всю тяжесть этой задачи: вырваться из необоримых пут одержимости.

Россия тоже находится в плену ослепляющей её страсти и не в силах предотвратить её последствия. Ради овладевших ею иллюзорных мечтаний она готова полностью погрузиться в губительный омут истории. Благодать Божественного прощения всё же не смогла избыть безудержного своеволия, не знающего предела своим желаниям. Кажется, вот финал, воплощающий всю безрадостность будущего, на которое обречена Зинаида-Россия. Но Солженицын на этом не останавливается.

Напротив, то, что ранее представлялось злом, оборачивается и благом. Писатель показывает, что безумная гонка красного колеса направляется не только дурными побуждениями. Если бы его движение питала только энергия ненависти, дело не зашло бы так далеко. Однако всё начиналось с добра, с идеи подлинной любви, которая утратила свою настоящую суть, но успела придать процессу невероятную мощь. Зло революции — это извращённое добро. В этом смысл потрясающих фраз, венчающих, быть может, самую удивительную главу «Красного Колеса»: «— В каждого из нас заложено таинство большее, чем мы предполагаем. И в общении с Богом доступно нам его разглядеть» (10; 530). Правда, Зина ещё не научилась молиться так, чтобы пути Господни открылись перед нею. Ведь пока ещё не найден ответ на вопрос, как ей преодолеть страсть, за которую она так отчаянно цепляется. И ей остаётся только услышать из уст священника укрепляющие слова: «— Нет в мире болей

больнее семейных, струпья от них — на самом сердце. Пока мы живы — наш удел земной. Редко можно за другого определить: “вот так — делай, вот так — не делай”. Как велеть тебе “не люби”, если сказал Христос: ничего нет выше любви. И не исключил любви — никакой» (10; 530).

Избавление от великой одержимости, породившей революцию, возможно только через осознание того, что она не была только лишь злом. Подобные свершения невозможны, если в истоках их не кроется благо. Но в этом и ключ к преодолению. Ежели любовь выбрала для себя негодный предмет, она способна заново обрести истинную полноту, отыскав достойный способ для самовыражения. Любящий должен отринуть собственное «я», а вместе с ним и всяческие помыслы о том, что он сам способен познать и установить правильный порядок вещей.

Революция поставила себя превыше людей, ради блага которых она и была замыслена. Ради спасения человека она втоптала его в грязь. Но это не означает, что сама идея служения людям в принципе неверна. Просто идея эта в нужный момент не была очищена от чрезмерного самовозвеличивания, которое так свойственно всем людским начинаниям. Революция ещё не научилась заботиться об отдельной личности прежде человечества — а ведь только думая о каждом, можно достичь всеобщего блага. Для достижения своих целей революция должна была проникнуть куда глубже в людские души, чем представлялось вначале. Она должна была переменить сердца. Христианство — это не альтернатива революции, это её подлинная суть⁴.

Величественный замысел освобождения человека, так беззастенчиво преданный Лениным и его последователями, вовсе не был лишён здоровой духовной основы. И то, что он в какой-то степени удался, объяснялось именно его христианскими корнями. А уничтожила его как раз неспособность или даже нежелание тех, кто пытался его воплотить, в полной мере соответствовать его изначальной сути. Обещание всеобщей и безусловной любви обернулось обязательным условием подчинения партийным и революционным лидерам. Любовь растворилась в потоке ненависти. И теперь необходимо признать свою ответственность за извращение исходных принципов и отыскать путь к раскаянию. Революция должна совершить переворот внутри самой себя и перестать стремиться к недостижимой вершине исторического развития. Она должна пожертвовать своим естеством, дабы переменить весь ход исторического процесса, сделав его единственным средостением человеческую личность. Вместо того чтобы жертвовать историей ради революции, революция должна пожертвовать собой ради истории. В конечном итоге революция неотличима от искупительной жертвы. Свершения людей должны слиться с деянием Господа. В этом призыве к искуплению, которым завершается «Октябрь Шестнадцатого», более всего поражает то, что и сам автор, похоже, добился чего-то большего по сравнению с его собственным замыслом. Не просто сделать революцию предметом осуждения, но и ощутить в ней путь к раская-

нию — это поистине новое откровение. Солженицын-историк не сумел различить в революции эту новую дорогу к покаянию, но чутьё художника его не подвело. Весь масштабный смысл «Красного Колеса» как в капле воды отразился в этом маленьком эпизоде внутреннего перерождения молодой женщины, и именно на таких примерах мы убеждаемся в том, что искусство проникает в суть вещей глубже, чем история.

Примечания

¹ Перевод с англ. Н. Гринцера.

² См.: Солженицын А.И. Красное Колесо: Повествование в отмеренных сроках // Солженицын А.И. Собр. соч.: В 30 т. М.: Время, 2007. Т. 8. С. 277. Далее цитируется это издание с указанием в скобках тома и страниц; сохранена авторская орфография и пунктуация.

³ Эта идея с новой силой звучит в книге 2 «Апреля Семнадцатого», когда Саня вновь встречается с Варсонофьевым. «Я думаю... я думаю... Простой человек ничего не может большего, чем... выполнять свой долг. На своём месте» (16; 531). Ту же мысль высказывает и Воротынцев, когда смотрит вниз с могилёвского Вала, понимая, что всё пропало, но всё равно, уверен он, следует если «не победить — так себя уложить достойно» (16; 559).

⁴ Этот взгляд на современный кризис тоталитаризма, в котором вызов, брошенный Солженицыным, сыграл свою знаковую роль, я попытался представить в своей книге «После идеологии» (см.: Walsh D. After Ideology. San Francisco: HarperSanFrancisco, 1990).